

Виктор А. Шнирельман

Полезные мифы?

Школьные учебники истории и национализмы в Центральной Азии и на Кавказе¹

Резюме:

В новых национализирующихся государствах национальная история пытается играть инструментальную роль, решая задачу консолидации общества и побуждая его к успешному нациестроительству. Национальный миф включает три компонента. Во-первых, воспоминания о недавнем прошлом порождают виктимизацию, призванную легитимировать получение независимости и вызвать симпатии мирового сообщества. Во-вторых, ключевое место в национальном мифе занимает образ великих предков, призванный зарядить общество позитивной энергией. В-третьих, такой миф, как правило, не обходится без образа векового врага. Автор показывает, как конструировались эти три компонента в различных регионах Южного Кавказа и Центральной Азии в разные исторические периоды и какое место они занимали в местных школьных учебниках. Преследуя свои собственные политические интересы, националистические версии истории приходят в столкновение друг с другом и способны создавать «научное» обоснование этническим конфликтам. Автор предлагает подходы, позволяющие избегать таких «войн памяти».

Обычно, говоря о негативных сторонах школьного преподавания истории, преподаватели, инструкторы системы образования и исследователи концентрируют внимание на «языке вражды», т. е. на тех лексических оборотах или скрытых смыслах, которые создают негативный образ Другого, демонизируя его и превращая во врага. В таком подходе, разумеется, есть большой смысл. Но, на мой взгляд, он отличается недосказанностью и обходит более фундаментальные вопросы. Что представляет собой школьный курс истории? Каковы его базисные основы, и какую именно цель он преследует? И насколько эта цель сочетается с идеей толерантности? Если в основу кладется национальная идея и целью считается развитие и укрепление этнического самосознания, можно ли избежать противопоставления себя Другому? И должен ли этот Другой в обязательном порядке наделяться негативными чертами?

Как еще сорок лет назад заметил один автор, в век национализма история не может не быть националистической². Это было сказано в связи с неудачными попытками написать единый непротиворечивый учебник по истории Европы. Несколько позже полным крахом закончились попытки советских ученых создать единые учебники по истории Закавказья, а затем – Средней Азии. Выяснилось, что у каждой национальной республики было свое собственное видение региональной истории, кардинально расходившееся с аналогичными представлениями ее соседей. Правда, сегодня, когда, с одной стороны, глобализация сглаживает жесткие культурные барьеры, а с другой, Европейский Союз демонстрирует, что и государственные границы могут быть эластичными, отношение к национальной истории меняется. Сегодня одним из новых популярных направлений исторической науки на Западе является деконструкция национальной истории, а в Европейском Союзе создаются учебники, основанные на идеологии космополитизма. В то же время, вразрез с этой тенденцией, конец XX века ознаменовался новой волной становления национальных государств, которым

¹ Доклад на семинаре «Войны памяти? Взаимосвязь школьных учебников и конфликтов в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Молдове в постсоветский период», проведенном Институтом им. Георга Эккерта по международным исследованиям школьных учебников, Брауншвейг (Германия), 13-17 июля 2009 г.

² David Thomson, "Must history stay nationalistic? The prison of closed intellectual frontiers," in: *Encounter* 30, no. 6 (1968): 22-28.

потребовалась своя собственная национальная история. Поэтому «конца истории», о котором писал Фрэнсис Фукуяма, не получилось. Вместо него мы наблюдаем новый виток межнациональных трений и противоречий. Причем не последнее место в них занимают национальные версии истории. Показательно, что поддержанную Советом Европы попытку грузинских ученых инициировать в 1997 г. в рамках «Тбилисской инициативы» создание новой универсальной версии истории Кавказа постигла та же печальная участь, что и ее советских предшественниц.

Для дальнейшего обсуждения нам не обойтись без понятия «нация». Сегодня оно используется в двух смыслах. Изначально под нацией понималось сообщество граждан данного государства, от имени которых в нем осуществляется политическая власть. Этот смысл нации придала Великая Французская революция, и так понимают нацию международно-правовые документы. Между тем, с конца XIX века нация стала пониматься также и в этническом смысле, ограничивающем рамки гражданской общности людьми, принадлежащими к данному конкретному этносу. Если в первом смысле нация имела открытый инклюзивный характер, то во втором – закрытый эксклюзивный. Поэтому многое зависит от тех критериев, которые определяют этническую общность, а ими могут служить язык, культура и даже биологическое родство (если этническая принадлежность определяется по родителям, т. е. по крови). Следовательно, первая сложность, с которой мы встречаемся, заключается в том, что в разных этносоциальных средах этничность может определяться по-разному и опираться на разные критерии. А ведь от того, как именно люди понимают и описывают свою общность, во многом зависит и то, как они представляют ее историю.

Мало того, легитимация этнонационального государства требует доказательства длительной связи этнических предков с его территорией. Но потомкам кочевников много труднее опираться на такой аргумент, чем потомкам земледельцев. Действительно, следы деятельности земледельцев обнаружить легче, и их культурные достижения (архитектура, искусство, ремесло, памятники письменности) оказываются не в пример более выразительными. Кроме того, их культурные памятники маркируют строго ограниченную территорию, которая считается по праву принадлежащей их потомкам и легитимирует «национальное государство». Поэтому предки-земледельцы традиционно ценятся выше, чем предки-кочевники. Вот почему у некоторых потомков кочевников (туркмен, азербайджанцев, турков) отмечается тенденция подчеркивать свою связь с теми предками, которые были оседлыми земледельцами, и преуменьшать роль предков-кочевников.

Советский Союз был основан на принципе этнофедерализма, фактически или номинально ставившем в привилегированное положение, так называемые титульные народы, от имени которых осуществлялась власть в союзных республиках. В то же время возможности этнонационализма были существенно ограничены жестким контролем со стороны коммунистической партии с ее идеологией интернационализма. И те кампании, которые время от времени организовывались против «национализма», были направлены именно против этнонационализма. Падение коммунистической власти и распад СССР привели к появлению новых государств, унаследовавших у советского государства принцип этнонационализма. Иными словами, теперь власть в них стала выступать от имени доминирующего этноса, и тотчас же возникла проблема этнических меньшинств, в той или иной мере ощущающих свою дискриминацию. Это и создало почву для того, что сегодня называется этническими конфликтами. Отсюда вторая сложность: облик официальной истории определяется интересами тех, в чьих руках находится власть, т. е. тех, кто выступает от лица доминирующего большинства («титульной нации»), от имени которого и пишется история.

Этнический конфликт, как правило, ищет оправдание в идеологии, требующей восстановления справедливости. Отсюда третья сложность: исторический нарратив не

является нейтральным по отношению к текущей политике; напротив, политики опираются на тот или иной образ истории, который требуется для удовлетворения насущных политических интересов, и постоянно происходит актуализация истории. Соответственно, противоборствующие стороны вырабатывают свои собственные концепции истории, расходящиеся друг с другом, и это ведет к тому, что сегодня называется «историческими войнами», или «войнами памяти»³.

Поэтому в данном случае нас должно интересовать то, какую роль в этом играет исторический нарратив или, шире, «национальный миф». Национальный миф – это определенное целостное представление о нации, ее составе, ее месте в мире, ее истории и ее будущем, включающее сформулированную идею о цели ее существования. Огромную роль в этом играет представление о национальной истории. Однако оно вовсе не сводится к историческому нарративу. Речь идет об очень широком круге общественных и культурных явлений, из которых складывается то, что называется социальной памятью⁴. Сюда входят кинопродукция, художественные произведения, живописные полотна, музыка, скульптура, архитектура, а также памятники и памятные доски. Немалую роль играет и топонимика. Все это – память, запечатленная в культурных реалиях и объектах.

Но есть и другой вид памяти – тот, который проявляется в периодических массовых действиях. Речь идет о ежегодных праздниках, о чествовании юбилеев великих людей и значимых исторических событий, а также о регулярно повторяющихся ритуалах как религиозных, так и светских. Все это призвано закрепить в памяти людей определенным образом составленную картину прошлого и четко определить его ключевые моменты. Сегодня это обращено не только к непосредственным участникам праздников и ритуалов, а к гораздо более массовой аудитории, получающей сведения о происходящем из средств массовой информации, в особенности, по телевидению или через Интернет. Не случайно говорится, что событие приобретает социальную значимость лишь тогда, когда оно озвучивается СМИ. Наконец, нельзя забывать и о роли музеев и их экспозиций, которые дополняют социальную память новыми ракурсами и интерпретациями. Следовательно, образ истории не ограничивается историческими текстами, а складывается на основе самых разных источников. И в этом состоит четвертая сложность.

Однако все это было бы невозможно без научно оформленных исторических конструкций, создающихся учеными и положенных в основу учебной литературы. Целью школы является не подготовка специалистов-ученых, а воспитание граждан данного государства, т. е., с одной стороны, лояльных государству, а с другой, чувствующих свою ответственность перед обществом. Ни один курс истории, сколько бы объемным он ни был, не может вместить всех имеющихся фактов. Тем более этого не может сделать скромный по объему школьный учебник истории. Такой учебник предлагает определенную схему исторического пути, одобренную государством и призванную служить его легитимации. Следовательно, авторам такого учебника приходится, во-первых, тщательно отбирать факты, а во-вторых, их особым образом интерпретировать, чтобы они создавали непротиворечивую картину исторического развития и служили данному государству и обществу.

В этом проявляется конструктивистская деятельность государства, заинтересованного в том или ином видении истории. В зависимости от политического устройства государство может по-разному влиять на выстраивание картины прошлого: через систему всеобщего

³ Сегодня такие «исторические войны» ведутся в разных частях планеты, где меньшинства прибегают к историческим аргументам в борьбе против дискриминации. Например, о Канаде см.: Arthur J. Ray, *I have lived here since the world began*, Toronto: Key Porter Books, 2005, 360-389.

⁴ Paul Connerton, *How societies remember*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989; Elizabeth Tonkin et al., eds., *History and ethnicity*, London: Routledge, 1989; Elizabeth Tonkin, *Narrating our pasts. The social construction of oral history*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992; John R. Gillis, ed., *Commemorations. The politics of national identity*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994; Jacob J. Climo and Maria G. Cattell, eds., *Social memory and history. Anthropological perspectives*. Walnut Creek: Altamira Press, 2002.

образования и образовательные стандарты, практики селекции и хранения информации, утверждение и финансирование государственных праздников, организацию особых ритуалов, свержение с пьедестала одних и установление других памятников и создание мемориальных комплексов, государственную поддержку деятельности тех или иных музеев. Нередко именно государство заботится о составлении стандартного списка значимых исторических личностей. Одни из них объявляются героями и память о них подлежит увековечиванию, другие признаются мерзавцами и их имена либо должны быть вымараны из книги памяти, либо, напротив, сохраняются в назидание потомкам в качестве негативного примера. В СССР такой список был выработан во второй половине 1930-х гг. и практически в неизменном виде дожил до распада страны. Но в новых постсоветских государствах он был подвергнут ревизии, и кое-где этот процесс продолжается до сих пор. При этом иной раз бывшие «мерзавцы» становятся «героями» и наоборот. Но иногда наблюдается желание сохранить тех и других, в результате чего в городах появляются одновременно памятники заклтым врагам, хотя они и располагаются в разных районах.

В России отказ от бывшей советской идентичности заставляет некоторых авторов школьных учебников превращать советских солдат эпохи Второй мировой войны в русских, и это ведет к опасному искажению картины участия советских людей в борьбе с нацистской агрессией. К столь же печальному результату ведет прославление коллаборационистов, принятое в некоторых постсоветских государствах.

В некоторые эпохи определенные исторические факты или сюжеты предаются забвению, но в другие они снова возвращаются из небытия и могут стать едва ли не ключевыми в контексте нового взгляда на историю. Поэтому необходимо обращать внимание на то, как происходит выбор значимых событий и что считается событием, а что нет. И как именно избранное событие интерпретируется. Взять, к примеру, захват Геок-тепе в 1881 г.: в Российской империи в этом видели триумф русской имперской мощи, завершение строительства империи, и это воспевал Достоевский. В советское время это событие замалчивалось. А сегодня для туркмен это – День поминовения, символ беззаветной преданности своему народу (хотя никакого единого народа тогда не было, имелись лишь разные племена) и бескомпромиссного сопротивления туркменских племен внешней экспансии. Ведь защитники Геок-тепе погибли, но не сдались. Тем самым, физическое поражение конвертируется в моральную победу.

Для СССР важнейшим праздником служило 7 ноября – символ освобождения трудящихся от гнета, символ эмансипации национальностей. А в современной России его заменили на 4 ноября в память об отпоре «иноземной интервенции» в 1612 г. (хотя эти события вполне можно интерпретировать и как династическую борьбу за престол). Тем самым, классовый подход сменился националистическим, причем с известной долей шовинизма, позволяющей радикалам устраивать в этот день ксенофобские «Русские марши».

Таким образом, радикальные политические изменения влекут за собой переосмысление и переписывание истории⁵. Отсюда пятая сложность, заставляющая отказаться от веры в возможность составления некоего абсолютно объективного исторического нарратива, годного на все времена.

Помимо официального взгляда на прошлое, существуют частная память (дневники, письма, фото- и киноматериалы, вещи, доставшиеся от предков), а также устная семейная история, создающие ему определенные неудобства и конкуренцию. Мало того, имеется еще и альтернативное прошлое меньшинств (этнических меньшинств, рабов, женщин, трудящихся, региональных и локальных групп, религиозных меньшинств, геев и лесбиянок, разного рода диссидентов). Эти истории нередко сталкиваются, ибо, во-первых, для них значимыми представляются совершенно разные события, а во-вторых, одни и те же события

⁵ Carl N. Degler, “Why historians change their minds,” in: *Pacific Historical Review* 45, no. 2 (1976): 167-184.

и одних и тех же исторических деятелей они могут трактовать и оценивать совершенно по-разному.

Современные государства за редким исключением отличаются культурной гетерогенностью. Если она учитывается во внутренней политике, то это иной раз ведет к формированию этнофедеративного государственного устройства, что мы знаем на примере СССР. Если же такое государство распадается, то некоторые бывшие этнические меньшинства становятся доминирующим большинством в новых государствах. При этом желательной культурной гомогенности не наступает. Во-первых, если речь идет о крупном народе (например, русские), расселенном по огромной территории, то культурная и диалектная вариативность неизбежны (а отсюда в ряде случаев стремление изобразить себя особым этносом подобно казакам и поморам в современной России). Во-вторых, прежние этнические меньшинства все равно сохраняются, в особенности, если существует дискриминация. Наконец, в-третьих, глобализация вызывает не только плотное общение через государственные границы, но и массовые миграции, что ведет к появлению новых этнических меньшинств. К этому добавляется специфика постсоветских обществ, унаследовавших от СССР политизированную этничность, что подпитывает этнический национализм и культивирует у титульных народов гегемонистские настроения. А при наличии современной системы образования и широком доступе к современным научным технологиям все это ведет к появлению альтернативных версий истории, неизбежно вступающих в напряженный диалог друг с другом, что и ведет к символическому соперничеству. Следовательно, в современном обществе невозможно существование некоего единообразного непротиворечивого образа истории. Такой образ существует лишь в диалоге и постоянно оспаривается. Причем речь вовсе не идет об откровенных фальсификациях, которые также имеют место. Речь идет о том, что разные группы могут весьма по-разному выстраивать свою идентичность, и это влияет на образ истории⁶. В этом состоит шестая сложность.

Что же свойственно представлениям бывших или существующих ныне этнических меньшинств о своей истории? Недавняя история трактуется ими как история угнетения или дискриминации в условиях чуждой им власти. Поэтому одной из особенностей такой версии истории является виктимизация, призванная оправдать получение независимости и легитимировать нынешнюю государственность в глазах мирового сообщества. Однако виктимизация ухудшает моральное состояние общества, создавая чувство апатии и пессимизма. Это не позволяет успешно решать сложные задачи построения новой государственности. Социальная мобилизация требует положительных примеров, чем и определяется вторая стратегия, связанная с поисками славных предков в доколониальном прошлом. Наконец, третья стратегия нацелена на создание образа якобы вековечного врага, постоянно строившего козни данному народу. Идеологи упрекают этого врага в том, что он посягает на идентичность данной этнической группы и тормозит ее развитие или даже мечтает о ее уничтожении. На самом же деле создаваемый ими образ врага укрепляет ее и ведет к ее внутреннему сплочению. Иными словами, в данном контексте образ врага играет важную инструментальную роль.

Например, у армян виктимизация выражена в памяти о геноциде 1915 г., которая в свою очередь рождает горестные переживания по поводу утраты государственности и долгого существования в рассеянии. Зато Золотым веком считается время Тиграна Великого (95-55 гг. до н. э.), память о котором армяне сохраняют много лучше, чем о более поздних армянских государствах. А в образе врага выступают турки, якобы веками мешавшие выживанию армянского народа. Аналогичным образом, таджики связывают свой Золотой век с эпохой Саманидов. Виктимизация у них связана с образом крушения средневековой

⁶ Ana Maria Alonso, "The effect of truth: representations of the past and the imaging of community," in: *Journal of historical sociology* 1, no. 1 (1988): 39-45.

государственности, а также с потерей важнейших исторических областей в период формирования Таджикской ССР в конце 1920-х гг. В свою очередь враг также ассоциируется с тюрками, положившими конец местным средневековым государствам и претендующими сегодня на древнее или средневековое иранское наследие.

В свою очередь в Азербайджане Золотой век ассоциируется с образом средневековых княжеств, в особенности, с государством Сефевидов (1502-1736 гг.). В течение нескольких советских десятилетий главным врагом там считали иранцев, проводивших иранизацию Южного Азербайджана. Однако, начиная с конца 1980-х гг., там верят также во всемирный армянский заговор. А поражение в ходе карабахского конфликта (1988-1994 гг.) заставило азербайджанцев воспринимать себя жертвой, изображая дело так, будто они веками притеснялись армянами: о «двухвековой политике геноцида» говорил указ Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев», изданный 26 марта 1998.

В Грузии образ Золотого века прочно закрепился за эпохой Давида Строителя и царицы Тамары (XII – начало XIII вв.). Последующие времена представлялись «темными веками», однако четкого образа врага в грузинском общественном сознании до недавнего времени не было за исключением короткого периода второй половины 1940-х гг., когда на это место претендовали турки. И лишь после распада СССР власти независимой Грузии начали культивировать образ ненавистного «северного соседа». В Абхазии виктимизация связана с событиями советского времени – с понижением политического статуса республики в течение 1920-1930-х гг. и с грузинизацией в 1937-1953 гг. Золотой век обнаруживается в раннем средневековье, в частности, в виде расцвета раннесредневекового Абхазского царства (VIII-X вв.). А врагами оказываются грузины, якобы постоянно посягавшие на абхазскую идентичность, абхазскую территорию и политические права абхазов. Наконец, в Южной Осетии виктимизация опирается на два факта – кровавое подавление осетинского восстания демократической Грузией в 1920 г. и грузинизацию в 1938-1953 гг.

У народов, чьи предки были кочевниками, виктимизация связана с тем, что европоцентристская историография долгое время рисовала тех «варварами» и разрушителями того, что создавалось другими. За ними отрицалось творческое начало, а их позитивный вклад в мировую культуру не признавался.

При этом недавние трагические события (армянская резня в Сумгаите в феврале 1988 г., карабахский конфликт, абхазо-грузинская война 1992-1993 гг., попытки грузинского вторжения в Южную Осетию на рубеже 1991-1992 гг. и в 2008 г.), во-первых, трактуются в контексте уже сложившегося образа виктимизации, а во-вторых, лишь усиливают этот образ и придают ему вневременное значение.

Ключевым термином современной виктимизации служит «геноцид», призванный убедить мировое общественное мнение в том, что военное нападение имело своей целью не решение актуальных территориально-политических проблем, а полное истребление данного народа. Иными словами, недавние события вырываются из исторического контекста и представляются неизбежным звеном бесконечной цепи исторических событий, вызванных коварными и жестокими действиями одного и того же исторического врага. Поэтому в Чечне еще недавно говорили о непрерывной 400-летней войне с Россией, в Азербайджане объявляют о «200-летнем геноциде» со стороны армян, а, например, в Гватемале индейцы-майя культивируют представление о 200-летней войне с пришельцами. Мало того, современные кровавые столкновения ведут к актуализации истории (историцизм) и заставляют пересматривать ее, демонизируя своего нынешнего противника и превращая его во вневременного недруга.

Все это приводит к существенному упрощению истории. Ведь, во-первых, остаются за скобками разнообразные действовавшие в ней факторы (экономические, социальные, политические и пр.), сложность социальной организации и социально-политическая гетерогенность общества, а во-вторых, игнорируются периоды спокойной совместной жизни

с инокультурными соседями. В то же время такие соседи изображаются хорошо интегрированным социально-культурным организмом, якобы наделенным единой волей. Тем самым, фактически возрождается этнорасовый подход к истории, развивавшийся некоторыми европейскими авторами (Л. Гумплович и др.) на рубеже XIX-XX вв. и ставший одним из побудительных мотивов к геноциду, устроенному позднее германскими нацистами. Примером такого подхода служит недавно вышедшая книга ведущего осетинского историка М. Блиева об истории Южной Осетии, демонизирующая грузин и наделяющая их неистребимым желанием истребить осетин (с этой целью даже осетинские князья превращаются там в «грузин») ⁷. В Армении вспоминают об «арийской расе», в Азербайджане говорят о «тюркской расе», в Осетии прославляют «индоевропейскую расу» и в школьном учебнике даже появился параграф об «арийском мировоззрении», а в Грузии настаивают на необычайной устойчивости «грузинской крови». В свою очередь в Таджикистане таджиков и узбеков иной раз представляют разными «несовместимыми расами».

Обычно переписывание истории идет по двум направлениям. Во-первых, оно включает переосмысление образа далеких (изначальных) предков, и, во-вторых, заставляет давать новую интерпретацию событиям недавнего прошлого и иначе оценивать поступки их участников. Первая стратегия является более сложным случаем, так как связана с идентичностью и потому создает более эмоционально наполненные коллизии. В современном мире этничность все чаще приобретает символический характер: представители этнических меньшинств, полностью интегрированные в данное общество и перешедшие на язык доминирующего населения, нередко сохраняют память об этнических предках. Это становится их единственным политическим ресурсом, позволяющим бороться против дискриминации. И он связан с историческим образом: мы – иные, так как у нас иная история, и наши предки шли иным историческим путем. В этом контексте образ предков обладает важным ценностным наполнением и актуализируется. Поэтому здесь я сделаю акцент именно на образах далеких предков.

Образ предков, выстраиваемый местными учеными, тесно связан с текущей политикой и чутко реагирует на ее изменения ⁸. В 1918-1920 гг. армянские авторы, чтобы противостоять пантюркистскому проекту, всячески пытались оторвать своих предков от Кавказа. Поэтому тогда господствовала миграционная теория. Такие настроения сохранялись у армян-эмигрантов, что не позволяло им участвовать в общекавказских объединительных проектах. Зато в 1940-е гг., чтобы дистанцироваться от нацистских построений, армянские авторы делали предков автохтонами и иной раз пытались даже оторвать их от индоевропейской общности. Позднее предки были возвращены в состав последней, но возобладал принцип автохтонизма, и прародиной армян стало считаться Армянское нагорье. В результате произошла национализация царства Урарту. Если вначале говорилось об инфильтрации предков армян в Урарту и о постепенной арменизации его населения, то позднее оно было уже безоговорочно объявлено армянским.

Все это находило отражение в учебниках, содержание которых в течение последних 50-60 лет постепенно менялось. Если вначале учебник говорил о приходе предков армян с запада и ассимиляции ими местных обитателей, то затем речь уже пошла о двух разных категориях предков – пришлых и местных анатолийских, пока, наконец, в 1960-х гг. армяне не были представлены исконными обитателями Армянского нагорья. Если в первых учебниках (1940-е гг.) армянские авторы были готовы делиться с грузинами урартским

⁷ Марк Блиев, *Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений*, М.: Европа, 2006.

⁸ Подробно см.: В. А. Шнирельман, *Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье*, Москва: Академкнига, 2003; Victor A. Shnirelman, *The Value of the Past. Myths, Identity and Politics in Transcaucasia*, Osaka: National Museum of Ethnology, 2001 (Senri Ethnological Studies, vol. 57); idem, "Politics of ethnogenesis in the USSR and after," in: *Bulletin of the National Museum of Ethnology*, 30, no. 1 (2005): 93-119.

наследием, то со временем (с 1960-х гг.) они стали изображать своих предков единственными наследниками Урарту. Со временем школьные учебники делали все больший акцент на древности армянского народа, «одного из древнейших народов мира»; его формирование связывалось с Армянским нагорьем, причем автохтонная модель получала все большее признание; велся лихорадочный поиск все более и более древних «армянских» государственных образований; удревнялось проникновение армянского населения в долину р. Аракса и в Араратскую долину; писалось о быстрой и успешной экспансии армянского языка и его полной победе на Армянском нагорье в III–I вв. до н. э. После этого рубежа все местное население изображалось армянами; о каких-либо иных группах, пришлых (евреях, сирийцах) или автохтонных (албанах), речи, как правило, уже не было. Иными словами, учебники целенаправленно навязывали учащимся идентичность, основанную, прежде всего, на языке и территории, хотя ключевую роль в армянской идентичности веками играла религия (грегорианское христианство, или монофизитство). Именно это и позволило арменизировать албанов-христиан.

Как бы ни представляли себе происхождение своего народа армянские авторы, они всегда связывают армянскую идентичность, прежде всего, с армянскими языком и письменностью. А для азербайджанцев язык оказывается далеко не на первом месте. Ведь в течение столетий состав населения Азербайджана не раз существенно менялся, и люди переходили с одного языка на другой. Мало того, само понятие «Азербайджан» закрепилось за современным Азербайджаном только после 1917 г. Это и сделало возможным относительно частую смену представления о предках: за последние сто лет оно менялось пять раз. Один из первых азербайджанских политиков Мамед Расул-заде категорически настаивал в 1920-х гг. на тюркском происхождении азербайджанцев и отводил большую роль средневековым миграциям кочевников, в особенности, сельджуков, – все это повлекло смешение населения и его переход на тюркский язык. Напротив, первые азербайджанские марксистские авторы полностью отвергали роль миграций и доказывали, что азербайджанская общность сложилась автохтонным путем из сближения и смешения курдов, тюрков и армян. В 1940-х гг. азербайджанские авторы всячески дистанцировались от тюркского родства и искали предков среди древних мидян, говоривших на одном из иранских языков. В 1960-1970-х гг. большой популярностью в азербайджанской академической науке пользовалась концепция, выводившая предков из древней Кавказской Албании, население которой говорило на одном из северокавказских языков, но со временем перешло на тюркский язык, сохранив при этом свою оседлоземледельческую культуру. Затем эта теория подверглась сильному давлению со стороны ревизионистов, всеми силами пытавшихся тюркизировать древнее население Кавказской Албании, тем самым, отказываясь от представления о смене языка.

Как бы ни относились советские теории происхождения азербайджанцев к языковому фактору, все они неизменно придерживались принципа автохтонизма, делая основой азербайджанского этногенеза местное оседлое население и всячески открещиваясь от предков-кочевников. Все это находило отражение в учебниках по истории Азербайджана, выходявших с конца 1930-х гг. А с конца 1960-х гг. в некоторых учебниках обнаружила себя и новая тенденция, стремившаяся к удревнению тюркоязычия на территории исторического Азербайджана и поиску на его территории все более ранних государств. При этом этнокультурная преемственность неизменно связывалась с оседлым населением, а тюркские кочевники получали негативную оценку как племена варваров, приносящие лишь разорение и гнет.

Таким образом, если для армян характерна языковая идентичность, то для азербайджанцев – территориальная, региональная. Это и заставляло азербайджанских авторов приписывать всем историческим деятелям, творившим на земле Азербайджана, азербайджанскую идентичность, что вызывает удивление и неприятие у армян, у которых

идентичность строится на иных основаниях. Отсюда бесконечные споры об этнической идентичности различных исторических деятелей эпохи средневековья. При этом, если азербайджанские авторы любят подчеркивать, что в течение последних двух тысячелетий у армян не было своей государственности, в особенности, на территории Южного Кавказа, то армянские авторы отмечают в ответ, что до начала XX в. азербайджанцев вообще не было как народа. В итоге те и другие всеми силами пытаются опровергнуть такого рода обвинения, затрагивающие национальное самолюбие. При этом, армянские авторы обвиняют тюрков в «принципе присвоения» чужого наследия, однако и сами они оказываются не прочь национализировать государство Урарту, чтобы доказать, что империя Тиграна Великого вовсе не была случайностью в их истории.

Но главные разногласия касаются трактовок истории Нагорного Карабаха. В первые годы Карабахского конфликта его истоки и причины связывались основной массой как азербайджанцев, так и армян с событиями недавнего прошлого: азербайджанцы обвиняли армян в попытках противоправного отчуждения своих земель, а армяне возводили начало конфликта к 1921 г., когда в результате сложной политической игры Нагорный Карабах оказался в составе Азербайджана. В зависимости от своей собственной интерпретации случившегося армяне обсуждали карабахскую проблему в терминах «освободительной борьбы» или «борьбы за существование», а азербайджанцы – «агрессии» и «оккупации». Параллельно интеллектуалами обеих сторон делались попытки мобилизовать все более глубокие пласты исторической памяти.

В глубокой исторической перспективе проблема Карабаха оказывается частью более широкого вопроса о Кавказской Албании. За последние полвека разногласия касаются едва ли не всех вопросов ее истории: ее географических границ, политического статуса и его изменения во времени, времени принятия христианства и его особенностей, принадлежности (армянской или албанской) христианских храмов, наличия письменной традиции и какой именно, судьбы местного населения и, главное, его этнической идентичности, включая идентичность известных исторических деятелей эпохи средневековья. При этом обе стороны обсуждали вопрос «национального самосознания», хотя вплоть до XIX в. ни о каком национальном самосознании говорить не приходилось; речь могла идти о религиозной (церковной) принадлежности. Именно последняя была главной формой самосознания в эпоху средневековья (Албанская церковь дожила до 1836 г.).

Начиная с последних советских десятилетий, в Азербайджане целенаправленно вытравлялась всякая память о роли армян в местной истории. Например, в справочниках памятников истории и культуры Азербайджана христианское наследие за редким исключением обходилось молчанием, а в 1980-х гг. из них исчезла и Кавказская Албания. Мало того, в независимом Азербайджане память об армянском населении физически уничтожается, как это произошло с уникальным средневековым кладбищем в Старой Джуге в Нахичевани. Но началась эта «война кладбищ», или «каменная война», как выразился один наблюдатель⁹, еще в 1970-1980-х гг., т. е. до начала боевых действий в Карабахе, причем это происходило равным образом как в Азербайджане, так и в Армении. По сути, местные версии истории стали одной из важнейших составных частей идеологической обработки населения, подготовившей карабахский конфликт.

Эта тенденция достигла кульминации в конце 1990-х гг., когда в Баку был издан указ «О геноциде азербайджанского народа», после чего президент Гейдар Алиев поставил вопрос о возвращении «исторических земель Азербайджана» и, вслед за некоторыми ревизионистами, назвал Армению «Западным Азербайджаном». Похоже, с тех пор этот политический курс в Азербайджане не изменился. В Армении тоже есть радикальные историки, называющие Азербайджан «Восточной Арменией», но они не получают

⁹ В. Иванидзе, «Карабах, боль моя...» в: *Огонек* 4 (1990): 26-29.

поддержки у местной власти и не пользуются авторитетом в научной среде. Тем не менее, в борьбе за искомый образ Кавказской Албании с обеих сторон участвуют профессиональные историки.

Абхазо-грузинское историческое соперничество затрагивает такие вопросы как происхождение местных народов и установление их древних предков, формирование древней государственности и идентичность первых правителей, этнический состав ранних государств, степень их консолидации и длительность их существования, характер связей и взаимоотношений между грузинской и абхазской государственностью, особенности их культуры и языка. При этом, по-своему интерпретируя одни и те же исторические источники, обе стороны решают эти вопросы едва ли не прямо противоположным образом. Если абхазы представляют своих предков аборигенами Восточного Причерноморья, то грузинские историки до недавнего времени рисовали их пришельцами с севера, будь то к началу II в. н. э. (по Г. Меликишвили) или в XVII в. (по П. Ингорокве). Обращаясь к древнейшим пластам истории Юго-Восточного Причерноморья, грузинские авторы рисуют местные племена предками грузин, а абхазские авторы – предками абхазов. Одна из ключевых проблем связана с Абхазским царством (VIII-X вв.): если абхазы прославляют его как высший взлет политического могущества своих предков, то грузины населяют его грузинами, называют «подлинно грузинским царством» и связывают с началом целенаправленного формирования «национальной грузинской государственности». Грузинские авторы приписывают творчеству своих предков едва ли не все древности Абхазии, начиная от дольменов черноморского побережья и до раннехристианских храмов. Сюда входит, разумеется, и Колхидское царство, самое раннее политическое образование в Восточном Причерноморье. А абхазские авторы делают все возможное, чтобы преуменьшить роль грузинской культуры и государственности в Абхазии. В 1990-х гг. в грузинских школах преподавали историю с учетом версии П. Ингороквы. Но абхазы видят в этой версии злонамеренное искажение исторической истины.

В последние десятилетия XX в. в грузинской историографии осетин было принято изображать кровожадными варварами, устраивавшими набеги на мирные грузинские села и противоправно претендовавшими на исконные грузинские земли. Эта тенденция особенно ярко проявилась на рубеже 1980-1990-х гг.¹⁰ Учебник 1962 г. относил их переселение в горы Северной Грузии к XIII в., но затем грузинские авторы стали датировать это XVII-XVIII вв. или даже более поздним временем. Со своей стороны, подчеркивая свою культурно-языковую преемственность с аланами, а через них – с более ранними ираноязычными кочевниками, осетины доказывают, что их предки уже жили в этих местах к началу раннего средневековья. А их приход туда они датируют ранним железным веком или даже эпохой бронзы. Если грузинские авторы видели в пришлых иранских кочевниках разбойников и грабителей, то осетинские рассматривали их как культуртрегеров. Разногласия касаются и вопроса об идентичности двалов, древнего исконного местного населения. Осетинам хочется видеть в них иранцев, а грузинам – грузин, хотя те скорее всего были северокавказцами, возможно, вайнахами. Все эти разногласия находили место в школьных учебниках.

В Средней Азии уже давно наблюдается борьба за древних предков, представленных местными кочевниками раннего железного века (саками, массагетами и др.). Эта борьба особенно усилилась после обретения независимости и формирования местных самостоятельных государств¹¹. Если таджики видят в этих кочевниках своих предков, то казахи, узбеки и туркмены – своих. При этом таджики опираются на языковой фактор и указывают на иранский язык древнего местного населения. Со своей стороны казахи, узбеки

¹⁰ Подробно см.: В. А. Шнирельман, *Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье*, Москва: Академкнига, 2003, 473-475.

¹¹ Подробно см.: Victor A. Shnirelman, "Aryans or proto-Turks? Contested ancestors in contemporary Central Asia," in: *Nationalities Papers* 37, no. 5 (2009): 557-587.

и туркмены иной раз делают акцент на биологической преемственности (по физическому типу или «крови»), а иной раз даже доказывают, что среди древних кочевников встречались и тюркоязычные группы. По наиболее радикальной версии, древние кочевники были в основном или полностью тюркоязычными. В любом случае они представлены в местных учебниках как безусловные предки, независимо от того называются они арийцами (ариями) или тюрками. Казахи даже поставили в Алматы в честь обретения независимости тридцатиметровую колонну, которую венчает изображение сакского воина. Этим подчеркивается роль саков, положивших начало славной истории, которая привела казахов к построению своего собственного независимого государства, и сегодня этот факт отмечается в школьном учебнике. В свою очередь в Таджикистане в 2006 г. было устроено чествование «Года арийской цивилизации», чем еще раз была подчеркнута «арийская основа» таджикского народа. А в местных школьных учебниках история таджиков начинается с материалов о древних «ариях», играющих роль «культурных предков».

Иными словами, для своей легитимации современные национализирующиеся государства пытаются всемерно использовать образ древних предков. Такие предки, во-первых, должны быть непременно автохтонными, что позволяет претендовать на определенную территорию. Во-вторых, они должны быть как можно более древними, что делает такую территорию неоспоримым историческим наследием титульного народа. В-третьих, им приписывается создание древней государственности, что оправдывает строительство современного независимого государства. Следовательно, этнический национализм испытывает неизбывную потребность в образе такого рода древних предков.

Однако, характер имеющихся исторических данных сплошь и рядом не отвечает запросам националистического проекта¹². Ведь древнее прошлое, как правило, слабо освещено источниками. Кроме того, там не было ничего похожего на современные нации или народы-этноты. Зато там встречались региональные группы или племена с совершенно иными территориальными границами, причем границы были весьма зыбкими и время от времени менялись. Это, в особенности, относилось к кочевым скотоводам, история которых была неразрывно связана с миграциями и перестройкой социальной организации. Нередко в прошлом встречались совершенно иные государства и политические конфигурации, из которых вывести современную государственность оказывается совершенно невозможно. Иногда энтузиасты находят в прошлом вовсе не то, что ожидается, например, господство славянского языка и православия в Великом княжестве Литовском, или господство иранских языков у кочевников раннего железного века в Центральной Азии, или преобладание древнего северокавказского (удинского) языка в Кавказской Албании, или распространение греческого языка в Восточном Причерноморье в византийскую эпоху.

Средневековое грузинское царство распалось к середине XV в., и его отдельные части находились под контролем Персии и Османской империи. И только в XIX в. в составе Российской империи его бывшие земли были вновь объединены. Но царь Восточной Грузии даже в XVIII в. по-прежнему величал себя «царем царей абхазов, картвелов, кахетинцев и армян». Иными словами, историческая реальность входит в противоречие с династическими претензиями, что в свою очередь открывает возможность для различных интерпретаций истории. Современный националистический проект в новых государствах СНГ (за исключением России) требует резкого разрыва с российским и советским наследием притом, что это наследие живо как в идеологии, так и в практике этих государств.

В институциональном плане проект современных постсоветских государств стал намечаться лишь в XIX в. в составе императорской России, а окончательно их территориальные границы и политическая структура были сформированы в советское время. И вовсе не случайно американский историк Рональд Суни метко назвал СССР «инкубатором

¹² О популярном обсуждении этой проблемы см.: Г. А. Дубовис, *Нации без дураков: история Украины и ее соседей*, Харьков: Фолио, 2009.

наций»¹³. Тем самым, последствия российской колонизации и установления власти большевиков были неоднозначны. Как показывает исторический опыт колониальных империй, стимулируя модернизационные процессы в колониях, они сами выковывали предпосылки своего крушения. Перефразируя известную марксистскую формулировку, можно сказать, что они сами воспитывали своих могильщиков. Ведь для удобства эксплуатации колоний и для более эффективного использования их ресурсов они создавали местный государственный аппарат, стимулировали развитие местной промышленности, развивали систему здравоохранения и образования, готовили кадры местной образованной интеллигенции. Происходило это и в СССР, и поэтому оценка, так называемой, советской национальной политики не может быть однозначной.

Кроме того, при внимательном изучении никакой «чистой» культуры или «чистой» этнической истории не обнаруживается. В советское время историки руководствовались марксистским положением о том, что творцом истории является народ. При этом между народом и нацией по умолчанию ставился знак равенства. И советская версия истории оказывалась националистической, хотя и с марксистским привкусом, вопреки принятому в отношении национальных культур лозунгу «национальная по форме, интернациональная по содержанию». Между тем, такой подход уязвим в двух отношениях. Во-первых, он изящно обходит вопрос о том, о какой именно истории идет речь. Ведь история может быть политической, социальной, культурной, этнической, гендерной и пр. В зависимости от этого историк будет иметь дело с разными субъектами, творящими историю. А во-вторых, без объяснения оставалось весьма многозначное понятие «народ», под которым вначале по умолчанию понимались трудящиеся массы. Совмещая марксизм с национализмом, советские учебники исходили из того, что культурно знать и простолюдины относились к единому народу, хотя их и разделяли социально-классовые перегородки.

Однако, современные нации стали возникать только с конца XVIII в. До этого никаких наций не было. Мало того, если этничность определяется единством языка и культуры, то в таком случае и она возникла сравнительно недавно. Ведь, во-первых, средневековая знать старалась держать дистанцию между собой и простым народом и нередко не относилась к тому же народу, что ее подданные. Она жила своей культурной жизнью и не только не ассоциировала себя с народом, но всеми силами пыталась возвести между собой и тем непроходимые культурные барьеры. Речь шла не только о бытовой и социальной субкультурах, но даже о языке общения. Известно немало примеров того, как знать сознательно пользовалась иным языком. Так, в Западной Европе феодалы столетиями общались на латыни. В эллинистических государствах Передней Азии и в зоне влияния Византии знать пользовалась греческим языком, а в зоне иранского влияния – арамейским. Так, в Абхазии до конца X в. языком богослужения и деловой переписки был греческий, и лишь позднее он был вытеснен грузинским. На территории средневекового Азербайджана бытовым языком был тюркский, языком науки и литературы веками служил персидский, а в религии безраздельно господствовал арабский, но армяне-монофизиты говорили по-армянски. Иногда социально-классовые различия подчеркивались с помощью биологической метафоры: «ак-сеек/ак-суяк» (белая кость) и «кара-сеек/кара-суяк» (черная кость) у тюрков-кочевников. И это поддерживалось брачной политикой.

Для знати представлялось важным иметь престижную генеалогию, ибо именно генеалогические связи (а вовсе не культура или язык) лежали в основе притязаний на власть. Поэтому были приняты династические браки, в результате чего родственные отношения между знатными семьями беспрепятственно прорезали государственные границы и выходцы из одного знатного рода могли править в разных государствах. Например, выходцы из семейства Багратидов (Багратиони) одно время правили и в Армении, и в Грузии. Не

¹³ Ronald G. Suny, *The revenge of the past: nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union*, Stanford: Stanford University Press, 1993.

составляет секрета и тот факт, что бабушка по отцу, мать и второй муж царицы Тамары происходили из осетин. По словам француза Жана Шардена, во второй половине XVII в. многие представители персидской знати, включая царя, были по материнской линии грузинами или черкесами. Русские князья гордились своей принадлежностью к Рюриковичам, отчетливо сознавая, что те происходили из германских земель. Иван Грозный даже иногда называл себя «немцем». Иной раз, для повышения престижа властителей составлялись фиктивные генеалогии. Так, одно время представители высшей аристократии в Польше и на Руси всеми силами пытались вести свои корни от императора Августа.

В то же время родственные отношения не только связывали знать, но и порождали конфликты и борьбу за политическое наследство в случае смерти того или иного властителя. Поэтому соседние правители не только рождались с помощью браков, но и вели жестокие войны друг с другом, занимались интригами и убийствами своих родственников. Общие культура и язык этому нисколько не мешали.

По всем этим причинам в разных контекстах один и тот же человек мог описывать себя весьма по-разному. Например, Жудит, вторая жена Людовика Благочестивого, в разных ситуациях называла себя баваркой, саксонкой, франкой или алеманнкой. В то же время в порядке вещей было использование в политике инокультурных наемников. Например, в последние годы своего правления Давид Строитель привлек к себе на службу 25 тыс. половцев (тюрков-кипчаков).

Политическая деятельность была прерогативой знати, которая принимала судьбоносные политические решения и воплощала их в жизнь. Если многие грузинские историки пытались представить южногрузинское княжество Тао-Кларджети «колыбелью грузинской государственности», то сам бездетный правитель этого княжества Давид куропалат вовсе не предполагал такого результата своей деятельности. Он завещал весь свой домен Византии, в результате чего эти земли были навсегда потеряны для Грузии¹⁴. А Баграт III воцарился в Абхазии (978 г.) вовсе не потому, что он был «грузином», а в силу своей принадлежности (по матери Гурандухт) к роду законных абхазских правителей.

При этом правители руководствовались своими собственными интересами, а вовсе не интересами какой-либо «нации», о которой для эпохи средневековья говорить не приходится. Главной целью средневекового государства был сбор налогов и, чем больше, тем лучше. Это и стояло за стремлением к приращению территории. А выбор той или иной религии определялся выгодами политического альянса. Например, правители Юго-западной Грузии, попавшие в зависимость от Османской империи, приняли ислам и в равной мере владели грузинским и турецким языками. Для царевича Вахушти, чьи зрелые годы прошли в России, принадлежность к грузинам определялась по религии – это были православные, подчинявшиеся каталикосу Картли. В свою очередь с середины XI в. и вплоть до начала XIX в. албаны определяли себя по церковному принципу: так называли себя те, кто подчинялся «албанскому католикосу». Народная культура и язык не являлись здесь определяющими факторами. Границы соседних государств постоянно менялись и определялись вовсе не народной культурой или языком, а расстановкой политических сил. Например, в середине XVIII в. грузинский царь Ираклий II владел царствами Картли и Кахетии, а также ненадолго подчинил себе ряд мусульманских ханств и армянских общин, лежащих к югу и востоку. Зато Западная Грузия ему тогда не принадлежала, а находилась в номинальной зависимости от Османской империи. Иными словами, в течение столетий ни о каком политическом

¹⁴ В свое время академик Г. А. Меликишвили убедительно показал, что расширение территориальных пределов Абхазского царства и его усиление не входило в планы Давида куропалата. Поэтому, по мнению Меликишвили, его было бы неверно считать объединителем Грузии. См.: Г. А. Меликишвили, *Политическое объединение феодальной Грузии и некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии*, Тбилиси: Мецниереба, 1973, 133-138. Подробно об этих событиях см.: М. Д. Лордкипанидзе и Д. Л. Мухелишвили, ред., *Очерки истории Грузии. Т. 2. Грузия в IV-X веках*, Тбилиси: Мецниереба, 1988, 331.

единстве Грузии не было и речи. Армяне же и вовсе потеряли свою государственность в 1045 г. (если не считать возникшего позднее Киликийского царства, существовавшего впрочем сравнительно недолго в 1097-1220 гг.). В средневековье в Юго-восточном Закавказье развивались самые разные тюркские ханства и сменялись тюркские династии. Но о каком-либо едином азербайджанском народе тогда говорить не приходилось.

Исходя из политических интересов, в особенности перед лицом реальной угрозы, грузинские правители не раз искали помощи у своих соседей, пытаясь играть на их противоречиях. Мало того, если одни выходцы из грузинского княжеского рода могли служить Персии, то другие – России. Так, в 1679 г. владетель Имеретинского княжества Арчил был лишен трона османами и бежал в Россию. После безуспешных попыток вернуть трон он остался в России, и его сын стал одним из сподвижников Петра I. Напротив, брат Арчила Георгий стал генерал-губернатором Восточной Персии и успешно подавлял восстания афганцев. Затем он возглавлял персидскую армию и погиб в борьбе с афганцами в 1709 г. Иными словами, если один брат верой и правдой служил России, то другой – Персии. К грузинским интересам все это не имело никакого отношения.

В эпоху средневековья случаи перемены подданства представителями знати случались часто и считались не изменой, а реализацией права знати на свободный выбор своего сюзерена. Так, в 1564 г. князь Андрей Курбский перешел на сторону польского короля Сигизмунда II Августа и участвовал в ливонской войне против Московской Руси. Зато тогда на стороне русских воевал князь Петр Щенятев, происходивший из литовского рода Гедиминовичей. Князья переходили на другую сторону вместе со своими подданными и ни о каком этническом происхождении или культурной лояльности при этом не думали.

Но и народ не был интегрированным целым: имелись свои региональные культуры и языки, а самосознание определялось, с одной стороны, общинными связями, а с другой, религиозной принадлежностью. Иными словами, и в этом случае язык и культура не служили определяющими факторами интеграции.

Такая история подрывает националистический проект, и она ему не нужна. Зато для создания нужной версии истории этот проект прибегает к набору достаточно стандартных приемов. Они включают, во-первых, одностороннее изображение и упрощение истории, в которой нация или этнос выступают единством, лишенным внутренних противоречий и напряженности, во-вторых, замалчивание некоторых неудобных фактов или событий, в-третьих, отрицание определенных исторических фактов, в-четвертых, национализацию (присвоение) чужих героев, в-пятых, этноцентристскую реинтерпретацию некоторых событий и переоценку действий их участников, в-шестых, использование фальшивок. Кроме того, методология такого проекта делает нацию, этнос и «национальное сознание» вневременными категориями и обнаруживает их в такие эпохи, когда они попросту не существовали. При этом этнонациональный фактор представляется стержнем исторического развития.

Речь идет и о таких нюансах исторического нарратива, которые упускаются внешним наблюдателем, но неизменно чутко замечаются местными жителями. Так, грузины негодуют по поводу того, что абхазские авторы относят раннехристианские храмы Абхазии к «византийской (или абхазо-аланской) традиции», а не к «грузинской». А абхазов раздражают любые упоминания о том, что грузинский язык оказал влияние на абхазский. Кроме того, для них неприемлема «теория двуаборигенности», утверждающая, что их предки пришли в Абхазию только во II в. н. э. Племенные группы, упомянутые древними авторами на территории Юго-Восточного Причерноморья, абхазы причисляют к своим предкам, а грузины – к своим.

Наконец, этноцентристские версии истории допускают «язык вражды». Он включает такие идеологемы как разделение на «коренных» и «некоренных», а также изображение инокультурных или иноязычных соседей, с которыми веками жили бок о бок, «гостями»,

«пришельцами», «оккупантами». В свою очередь эссенциализация исторических категорий приводит к конструированию образа «векового врага», наделенного неизменным «менталитетом» и необычайно устойчивой «системой ценностей». Доведенный до своего логического конца, такой подход ведет к возрождению расовой теории и является выражением свойственного современности культурного (символического) расизма.

В свое время французский историк Марк Ферро писал о трех уровнях этноцентризма: один – взгляд на историю глазами европейцев (технический прогресс отождествляется с Европой); второй – взаимоотношения каждой страны со своими соседями; третий – преобладание центра над периферией внутри страны¹⁵. Все это отмечается и в постсоветских государствах, хотя и в несколько видоизмененном виде. Здесь первый вид этноцентризма преобразуется в прославление далеких предков, которым приписываются великие достижения, способные посрамить тех, кто представляется в образе недавних «колонизаторов». Такой подход призван излечить «колониальную травму» и зарядить народ позитивной энергией для успешного нацистроительства (функция «врачевания», по Ферро).

Второй уровень этноцентризма нередко проявляется в борьбе соседних народов за одних и тех же предков и их историческое наследие. Однако это не обязательно ведет к разрушительным последствиям. Например, и для татар, и для чувашей большую ценность представляют болгарские предки. Однако при отсутствии каких-либо обоюдных территориальных притязаний такая борьба за «болгарское наследие» ограничивается символическим полем, хотя она и отражается в местных школьных учебниках. Борьба за «арийских предков» в Центральной Азии тоже не имеет серьезных политических последствий. Ясно, что там такие образы предков предназначены для внутреннего пользования. Иной характер борьба за предков принимает там, где речь идет о реальном политическом или территориальном конфликте, что наблюдается на Южном Кавказе. Следовательно, сама по себе презентация конфликтных образов предков не обречена на неминуемое этническое противостояние. Однако там, где происходит реальное столкновение этнополитических интересов, этноцентристские версии истории способны обеспечить ему «научные обоснования» и, тем самым, придать ему более жесткий и бескомпромиссный характер.

Наконец, третий уровень этноцентризма затрагивает чувствительную сферу взаимоотношений между «титულными народами» и этническими меньшинствами. Как правило, школьные учебники истории пишутся от имени «титульного народа», и этнические меньшинства в них либо совсем не упоминаются, либо упоминаются мельком или вовсе изображаются в негативном свете («варвары», «грабители», «оккупанты», «колонизаторы»). Речь идет не только об образе, но и о реальной этнической дискриминации, которую этот образ призван оправдывать. На это этнические меньшинства отвечают созданием своей «альтернативной истории», служащей им важным оружием борьбы с дискриминацией.

Так и возникают «войны памяти». Что могут сделать историки для их предотвращения или, по крайней мере, для минимизации ущерба от них? Вряд ли можно дать единый универсальный рецепт, ибо каждый конкретный случай имеет свои особенности. Однако в целом можно сформулировать следующие подходы: одни из них, возможно, окажутся полезными в одних ситуациях, другие – в других.

Во-первых, чтобы избежать мифотворчества, можно укоротить исторический нарратив, а именно, не искать этнических предков в первобытности и не доводить историю до самого последнего года. Первое, чтобы не создавать миф о далеких предках (ведь, сколь бы надежными нам ни казались археологические и лингвистические реконструкции, они все равно остаются реконструкциями), а второе, чтобы не исказить историю путем прославления нынешней власти.

¹⁵ Марк Ферро, *Как рассказывают историю детям в разных странах мира*, М.: Высшая школа, 1992, 12-13.

Во-вторых, можно отказаться от идеи непрерывной исторической преемственности и подчеркивать прерывистость в истории, чтобы не создавать миф о полной неизменности этноса во времени (по этому пути еще в 1980-х гг. пошла Ирландия). Ведь, например, существует возможность показывать историю России не непрерывной цепью событий, а сменой ряда весьма различных политических образований с разным составом населения: Киевская Русь, Владимиро-Суздальская Русь, Золотая Орда, Московское княжество, Российская империя, СССР, Российская Федерация. В еще большей мере это возможно сделать на примере Южного Кавказа и Центральной Азии. При этом следует объяснять школьникам, что в основе этничности лежат язык и культура, а вовсе не единые политические предпочтения и устремления. И единство культуры вовсе не обрекает людей на приверженность тому или иному политическому курсу; напротив, среди сторонников такого курса могут обнаружиться люди разного этнического происхождения (например, многие русские в Прибалтике были за отделение от СССР).

В-третьих, следует раскрывать учащимся особенности мифа о якобы целостном национальном организме и показывать сложный гетерогенный состав современных наций. При этом следует объяснять, что политическому (государственному) единству граждан вовсе не противоречит культурное и конфессиональное многообразие. И этничность не является главным фактором исторического развития. Напротив, нации стали возникать лишь в Новое время, а этнический фактор приобрел политическое значение сравнительно недавно.

В-четвертых, нельзя ограничиваться историей титульного народа, а нужно давать представление об истории всего общества, включая этнические меньшинства; нужно показывать, что их представители тоже участвовали в развитии данного общества и государства. Примеры этому всегда можно найти. Ведь, игнорирование меньшинств ведет к их отчуждению от доминирующего общества и развитию у них чувства маргинальности и ущербности.

В-пятых, не следует замалчивать альтернативную историю; нужно давать представление об историческом дискурсе и о вариативности исторических моделей. Такой подход способен научить школьников думать самостоятельно и самостоятельно оценивать сложные ситуации. Делая акцент на человека, он поставит перед ними проблему выбора и поднимет важные этические вопросы.

В-шестых, не стоит замалчивать неприятные моменты истории, так как в противном случае о них все равно напомнит социальная память или альтернативная история. Следует, напротив, внимательно анализировать и объяснять суть таких исторических событий. На этих примерах можно учить школьников ответственности перед обществом.

Мало того, историки способны противодействовать использованию национальной истории для решения актуальных политических задач. Например, сегодня на Украине в интересах текущей политики проводится кампания репрезентации Голодомора как «геноцида украинского народа». Но в Казахстане, где в начале 1930-х гг. из-за непродуманной политики седентаризации погибли более 1 млн кочевников, политики избегают придавать этому такое же значение. Иными словами, в разных контекстах политики по-разному относятся к актуализации истории: где-то они этим откровенно пользуются, а где-то стараются избегать. Напомню также, что, когда осенью 2001 г. президент Путин устроил совещание с видными российскими историками, они отсоветовали ему обращаться к раннесредневековой истории в интересах текущей политики.

Иными словами, у школы всегда есть выбор. Она может навязывать учащимся национальный миф, а может, напротив, готовить из них граждан, способных мыслить самостоятельно и осознавать свою гражданскую ответственность. Представляется, что только второй путь способен ослабить «войны памяти» и не доводить их до разрушительной конфронтации. И именно этот путь соответствует истинной демократии.

Библиография

- Блиев, Марк, *Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений*, М.: Европа, 2006.
- Дубовис, Г. А., *Нации без дураков: история Украины и ее соседей*, Харьков: Фолио, 2009.
- Иванидзе В., «Карабах, боль моя...» в: *Огонек* 4 (1990): 26-29.
- Лордкипанидзе М. Д. и Д. Л. Мухелишвили, ред., *Очерки истории Грузии. Т. 2. Грузия в IV-X веках*, Тбилиси: Мецниереба, 1988.
- Ферро, Марк, *Как рассказывают историю детям в разных странах мира*, М.: Высшая школа, 1992.
- Шнирельман В. А., *Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье*, Москва: Академкнига, 2003.
- Alonso, Ana Maria, "The effect of truth: representations of the past and the imaging of community," in: *Journal of historical sociology* 1, no. 1 (1988): 39-45.
- Climo, Jacob J. and Maria G. Cattell, eds., *Social memory and history. Anthropological perspectives*, Walnut Creek: Altamira Press, 2002.
- Connerton, Paul, *How societies remember*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Degler, Carl N., "Why historians change their minds," in: *Pacific Historical Review* 45, no. 2 (1976): 167-184.
- Gillis, John R., ed., *Commemorations. The politics of national identity*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Ray, Arthur J., *I have lived here since the world began*, Toronto: Key Porter Books, 2005.
- Shnirelman, Victor A., *The Value of the Past. Myths, Identity and Politics in Transcaucasia*, Osaka: National Museum of Ethnology, 2001 (Senri Ethnological Studies, vol. 57).
- Shnirelman, Victor A., "Politics of ethnogenesis in the USSR and after," in: *Bulletin of the National Museum of Ethnology* (Osaka) 30, no. 1 (2005): 93-119.
- Shnirelman, Victor A., "Aryans or proto-Turks? Contested ancestors in contemporary Central Asia," in: *Nationalities Papers* 37, no. 5 (2009): 557-587.
- Suny, Ronald G., *The revenge of the past: nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union*, Stanford: Stanford University Press, 1993.
- Thomson, David, "Must history stay nationalistic? The prison of closed intellectual frontiers," in: *Encounter* 30, no. 6 (1968): 22-28.
- Tonkin, Elizabeth et al., eds., *History and ethnicity*, London: Routledge, 1989.
- Tonkin, Elizabeth, *Narrating our pasts. The social construction of oral history*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Виктор А. Шнирельман

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, Москва.

shnirv@mail.ru